

Ж.Б. Абылхожин, Б. Бурханов, Р. Кубеев

*Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, Алматы, Казахстан
(E-mail: abylkhozhin@mail.ru)*

Октябрьская революция 1917 года и ее социальная база: научная несостоятельность некоторых традиционных историографических мифологем

Начиная с начала 1990-х гг., во многих школьных и вузовских учебниках, учебных пособиях, а также научных статьях, опубликованных в постсоветском пространстве, в описаниях событий Октября 1917 г. их обозначение как «революции» стало подменяться понятием «переворот». Причем очень часто явно или имплицитно здесь усматривались коннотации и смыслы, схожие с популистскими текстами, где выдвигаются различные домыслы о «заговоре всемирного еврейства» или о том, «как большевики за тридцать серебряников продались кайзеровской Германии». В настоящей статье предпринимается попытка показать научную несостоятельность этих конспирологических мифов, а также предложить аргументы по вопросу о том, почему Октябрь 1917 г. являлся именно революцией, а не неким переворотом. Авторами подвергается критике устойчивый стереотип советской историографии, который по инерции перешел в современную публицистику, а именно миф о том, что социальной базой Октябрьской революции, ее ведущей силой выступал рабочий класс в союзе с крестьянством. В этой связи в статье анализируется социальная структура Российской империи накануне революции, показывается, что абсолютно доминирующими стратами предреволюционного социума являлись обширнейшие маргинальные слои и пауперизированные массы населения. Именно их стихией был движим Октябрь 1917 г. Кроме того, в статье показывается, по каким причинам в Казахстане Октябрьские события имели характер «городской революции», почему аул и деревня Края пассивно восприняли их. Эти моменты исследуются через анализ характеристик аграрно-традиционного массового сознания. Хотелось бы надеяться, что настоящая статья будет некоторым образом способствовать актуализации дискурса по поводу бурно взывавших в последнее время в исторической публицистике мифотворчества и профанаций научного знания. Материалы статьи могут быть интегрированы в вузовские учебники, учебные пособия, школьные уроки и лекционные курсы по истории Казахстана и всемирной истории, читаемые в вузах республики.

Ключевые слова: революция, переворот, пауперы, люмпены, маргиналы, маргинальное сознание, «городская революция», аграрно-традиционное сознание, крестьянская община, ксенофобия.

В современной историографии все чаще стала доминировать трактовка Октябрьских событий 1917 г. как переворота. Что касается «свободной от академических условностей» исторической публицистики, то она в своих версиях идет еще дальше, пытаясь реанимировать дремучие столетние пароксизмы о некоем заговоре, «авторами» которого выступали либо «агенты мирового жидомасонства», либо «группа подрывных элементов, подкупленных Генеральным штабом кайзеровской Германии». Не принимая во внимание, в силу ее псевдонаучности и откровенной антисемитской ангажированности, эту расхожую конспирологическую профанацию, определимся все же в понятийном обозначении данного, безусловно, макроисторического феномена.

Как известно, государственный переворот предполагает коллективные действия, имеющие своим следствием внезапную и незаконную смену власти, правительства или персонала политических институтов, причем очень часто без радикального изменения политической парадигмы, экономической организации, культурной и идеологической систем в целом. Другими словами, переворот может изменить политический режим или его персонификаторов, радикально не преобразуя при этом другие системные параметры социума.

Революция же, напротив, выступает концентрированным проявлением масштабных социальных изменений. Последние начинают охватывать все уровни и структуры жизнедеятельности общества: экономику, политику, социальную, идеологическую и культурную организацию, структуры повседневности. Причем привносимые в эти сферы трансформации обретают фундаментальный характер, ибо пронизывают сами основы социального устройства общества, коренным образом меняя всю его функциональную природу [1; 367].

Кроме того, если переворот не втягивает в свою орбиту сколько-нибудь значительные группы людей, то революция — это всегда небывалая мобилизация массовой активности и энтузиазма, всепроникающее осознание сопричастности к ней абсолютно всех слоев населения, независимо от того, наполнено ли это чувство позитивной или негативной рефлексией.

Несмотря на то, что захват Зимнего дворца выглядел чисто внешне как переворот, все последовавшие за этим события говорят, что это была именно революция. Более того, она оказала влияние поистине континентально-евразийского масштаба. В данном случае неважно, кем были большевики на самом деле, важно, как их воспринимали во внешнем мире и как эти представления побуждали к действию. А поскольку акторами революций как таковых, т.е. самих по себе, могут быть не только крайне левые, но и крайне правые, то латентные импульсы большевистского Октября можно уловить уже в историко-событийном диапазоне 1917–1933 гг. И здесь не только «красные революции» в Германии или Венгрии, но и «фашистская революция Муссолини» 1922 г., «национал-социалистическая революция» 1933 г. в Германии. Если же иметь в виду, что Октябрьская революция своей данностью оказала во многом определяющее влияние на динамику всемирно-исторического процесса всего XX в., то к ней с полным основанием можно отнести эпитет «великая», правда, при этом с крайне негативным смыслом.

Один из известных исследователей проблемы социальных изменений пишет: «Изучение революций во многом подобно изучению землетрясений. Когда они происходят, ученые стараются извлечь смысл из множества собранных данных и построить теории для того, чтобы предсказать следующее. Постепенно мы начинаем лучше понимать их, но каждое новое землетрясение вновь удивляет нас. Так же и наше знание революций, как и знание землетрясений, все еще ограничено. Мы можем детально проанализировать их, перечислить некоторые благоприятные для них условия, но понять, что в точности они собой представляют, нам еще только предстоит» [1; 389].

Тем не менее ясно одно: революция всегда есть результат некоего моментного стечения исторических обстоятельств, возникновения уникального соотношения разнохарактерных причинно-следственных связей, факторов и сил. Одни из них проецируются в сферу человеческого поведения, мотиваций, эмоций, идей и намерений, другие — в область социального и культурного бытия, третьи — в область экономических интересов и политических возможностей. Еще более сложная и противоречивая мозаика мотивов, факторов и тенденций складывалась накануне Октябрьской революции в полуфеодальной и полиэтнической России.

Нельзя не согласиться с советской историографией, что наиболее сильный позыв к революционному действию придал общероссийский экономический кризис. Сильнейшим эхом он прокатился и по колониальной периферии, в том числе в Центральной Азии. Поскольку регион был уже достаточно интегрирован в геоэкономическое пространство Российской империи, то понятно, что здесь объемы колониально ориентированных сельскохозяйственного и промышленного производств стали демонстрировать тенденции, абсолютно симметричные экономическому коллапсу в метрополии. Быстрыми темпами раскручивалась спираль инфляции. Цены на муку увеличились на 157 %, масло — 300, обувь — 125, ситец — 300, мыло — 650, медикаменты — на 900 % [2; 105].

Гипертрофированно выросли цены на основной продукт питания — хлеб. Лишь за один год — с 1916 г. по 1917 г. — стоимость пуда хлеба возросла почти в 30 раз [3; 56]. Хлебный дефицит определялся в Туркестане (включая Южный Казахстан) в размере 50 млн пудов; дневная хлебная норма снизилась в городах до 150–200 г, сельское же население было лишено и этого минимума. Началась повсеместная нехватка продуктов питания, и как следствие — голод. Голодало казахское и киргизское население Семиречья, которое не видело хлеба по 2–3 месяца. Турар Рыскулов вспоминает: «...Люди рвали друг у друга из рук мешки, наполненные мертвечиной и утоляли ею зверский голод» [4; 75].

Хозяйственный хаос, порожденный войной, многократно усиливался интересным кризисом, который был связан с постфевральским политическим переходом российской государственности от феодально-монархического типа к буржуазно-демократическому устройству. Обширные и массивные пласты российской феодально-иерархической структуры еще не были демонтированы новым порядком, а соответствующие последнему социально-политические институты находились в зачаточном развитии, точнее будет сказать, в стадии деклараций, бесконечно апеллирующих к ожидаемому Учредительному собранию, по мере которого все якобы образумится само собой.

Поэтому правительство провозглашенной после Февральской революции Российской республики так и не смогло до конца определиться с концепцией государственного устройства страны (унитарная или федеративная республика, как того требовали многие национальные партии), и в принятии политических решений постоянно пребывало в шлейфе общественно-политических процессов. Лишения и страдания населения, угроза и реалии массового голода, война, продолжавшая собирать свою скорбную жатву (по отношению к этому вопросу Временное правительство игнорировало мас-

совые пацифистские общественные настроения и продолжало придерживаться лозунга «Война до победного конца!»), экономический и политический хаос, быстротечная утрата еще совсем недавно относительно приемлемого качества жизни снижали уровень терпимости в обществе, которое стремительно расставалось с иллюзиями по поводу способности власти эффективно и быстро решить буквально взрывающиеся проблемы.

Таким образом, революция отнюдь не была, как это пытаются объяснить любители конспирологии, экспортирована в «германском plombированном вагоне» (имеется в виду приезд в Петроград Ленина из-за границы), а имела достаточно мощные предпосылки к своему свершению.

Как известно, одним из системообразующих мифов советской историографии, всеопределяющим императивом ее так называемой «марксистско-ленинской методологии» являлась сентенция о характере социальной базы Октябрьской революции. Ее движущие силы связывались исключительно с «гегемонией пролетариата, скрепленной союзом с трудящимся крестьянством», «революционным творчеством масс, пробудившихся в своем классовом самосознании и политической активности».

Между тем успех большевистского революционного проекта далеко не в последнюю очередь был предопределен и тем, что он оказался созвучным докапиталистическому характеру социальной структуры общества, сущностной природе аграрно-традиционного социума и производным от него социокультурным и социально-психологическим проекциям.

Накануне революции Россия представляла собой, говоря словами Ленина, страну средне-слабого развития капитализма. Действительно, развитие капиталистических отношений имело здесь «анклавный», «точечный» характер, они были представлены не какой-то целостной и широкой, так сказать, всеорганизующей системой, а усеченным общественно-экономическим укладом. Удельный вес промышленного рабочего класса в общей структуре народонаселения составлял, по некоторым современным оценкам, от 3 до 5 %. Что касается населения, занятого в промышленном производстве вообще, то его совокупная численность была, конечно же, гораздо больше. Но это был отнюдь не промышленный рабочий класс в его классическом или хотя бы приближенном к этому представлении. Эта масса промышленно занятых субъектов являла собой крестьян — отходников или сезонников, сельских пауперов, выдавливаемых из деревни аграрным перенаселением, т.е. все это были «рабочие от земли». В строгом понимании все они были маргиналами, ибо находились в «пограничном» положении — уже как бы и не крестьяне, но еще и не рабочие, вышли из деревни, но деревня с присущими ей поведенческими стереотипами, узколокальными группоцентристскими ценностями и общинно-крестьянской моралью не вышла из них. Они находились в промежуточной стадии перехода из состояния «класс в себе» в «класс для себя», т.е. потенциально могут стать классом, но пока таковым не являлись.

Между тем большевики экспонировали данную массу населения как «рабочий класс, являющийся носителем революционного пролетарского классового самосознания». Отсюда их обозначение Октября 1917 г. как «пролетарской революции», а также миф о «диктатуре пролетариата», являвшейся де-факто диктатурой большевистских вождей. Апелляция к мнимой «диктатуре пролетариата» послужила для них якобы «пролетарским мандатом» для развертывания массовых репрессий, от ее имени охлократия получала индульгенции на «революционное насилие».

Абсолютно подавляющая часть населения, точнее 86 %, проживала на аграрной периферии, крайне в незначительной степени «облученной» рыночными отношениями. Отсутствие легитимного права частной собственности на землю, ее почти тотальное подавление общинной формой землевладения полностью блокировали капиталистическую трансформацию сельского хозяйства.

Крайне суженное распространение отношений частной собственности, а отсюда и рынка, предопределило то, что социальная структура общества складывалась под влиянием именно докапиталистического типа расслоения. Его главной результирующей было воспроизводство огромнейшего паупер-люмпенской страты, часть которой, мигрируя в города, маргинализовала их социальную структуру. Другими словами, наблюдался не процесс урбанизации, а рурализации, т.е. массовой интродукции в городское пространство сельско-крестьянской субкультуры, которая подавляла субкультуру урбанизированную.

Поэтому, как это характерно для всех доиндустриальных, т.е. докапиталистических аграрно-традиционных социумов, в массовом общественном сознании доминировали приоритеты группоцентристской солидарности и одновременно агрессивной ксенофобии ко всему и вся, что не подпадало под стереотипизированные образы «нашенского». Здесь мощно присутствовало негативное отношение, если не презрение, к частной собственности и ее носителям, успеху на ниве личного благополу-

чия, к труду, направленному не на простое выживание, а на достижение благосостояния, т.е. богатства. Такое богатство расценивалось как богатство морально несправедное, а потому вполне морально покушаться на него по типу большевистской максимы «экспроприация экспроприаторов», что в категориях массового сознания переводилось с высокой латыни как «грабь награбленное». Органично воспринимало аграрно-традиционное сознание призывы к авторитаризму и деспотии, поскольку «массовый человек» здесь представлен преимущественно своим садомазохистским типом.

Вся эта ментальная совокупность, безусловно, осознавалась руководством и теоретиками большевистской партии. Они, в отличие от многих других политических партий, достаточно рационально представляли социальную среду и доминировавшие в ней стереотипы сознания, природа которых была органично отзывчива на революционную риторику.

Что касается утверждения советского нарратива о том, что гегемоном, движущей силой революции выступал пролетариат, который в союзе с трудящимся крестьянством и формировал ее социальную базу, то это не более чем мифическая идеологема (якобы все произошло по Марксу: капитализм в России ухудшал положение рабочего класса, и он пошел на баррикады, став его могильщиком). К сожалению, по советской инерции этот миф имеет подчас хождение и в некоторой современной исторической публицистике и — что еще более прискорбно — во многих школьных и вузовских учебниках.

На самом деле, социальной базой революции послужила мобилизованная большевиками паупер-люмпенская стихия масс, помноженная на явления запредельно массовой маргинализации общества (маргиналом в данном случае выступал «переходный человек» — крестьянин, ставший рабочим, солдатом или матросом, обыватель, утративший размеренность своей привычной жизни, мелкий буржуа или полуинтеллигент, облачившийся в тогу профессионального революционера, и т. д.). И это вполне объяснимо, ибо именно паупер-люмпенское и маргинальное сознание характеризуется разрушением ценностных ориентаций и моральных норм, отчужденностью и разочарованием, озлобленностью, враждебностью и агрессивной ксенофобией ко всем и вся.

Такое сознание глубоко иррационально. Здесь причинный поиск любых проблем носит не интровертивный характер, а исключительно экстравертивный, т.е. направляется не вовнутрь, а всегда во-вне. Маргинал или паупер рационализирует, т.е. объясняет или оправдывает, любые свои внутренние личностные проблемы только одним способом: в моих бедах виноват не «Я», а «Они», злонмеренные и коварные «Кто-то». Отсюда неустранимая жажда мщения, необузданное стремление взять некий социальный реванш, неважно у кого и для чего. Носители такого типа сознания всегда нацелены на наиболее простое и радикальное решение проблем, а потому любому, кто пообещает сделать это, они готовы «отдать свои души».

Олицетворением и концентрированным выражением этих настроений стал «человек с ружьем» — солдат-фронтовик, в массе своей вчерашний крестьянин. Утратив относительное спокойствие и размеренность жизни традиционного деревенского мирка, он стремился обрести личную стабильность, выйти из разрушающего его состояния одиночества. В поисках утраченного он стал уповать на новые авторитеты взамен поверженных, которые обещали ему «царство божье» на земле и могли дать простые и понятные для него указания, как жить и что делать дальше. Этими «новыми авторитетами» и стали большевики. Такие их слоганы, как «экспроприация экспроприаторов», «ни бедных, ни богатых», «кухаркины дети станут управлять государством» и т. п. были органично восприняты паупер-люмпенскими и маргинальными группами общества, составлявшими, повторяем, самый большой пласт его социальной структуры. Они требовали простых и скорых решений. И большевики предлагали им такую развязку. Как говорил Ленин, «массе надо показать нечто очень простое, очень доступное ее разуму. Советы и коммунизм — просто...» [5; 146].

Абсолютно корреспондировали массовым общественным настроениям и до предела простые, но несущие в себе огромный мобилизующий потенциал базовые лозунги, которые манифестировались большевиками: «Земля — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!», «Мир — солдатам!», «Право на самоопределение — народам России!». Деструктивная и хаотичная социальная энергия требовала выхода, и большевистские вожди сумели аккумулировать ее в массовый революционный призыв.

В свое время некоторые западноевропейские социал-демократы удручающе сетовали, что революция, свершившаяся в отсталой докапиталистической России — это «историческая ошибка», ведь по Марксу она ожидалась именно в развитой капиталистической стране с обширным рабочим классом, вызревшим до критической массы конфликтом между «трудом и капиталом». На самом деле, здесь не было какой-то аномалии. Российская империя стала очагом революции потому, что именно

здесь моментно соединились в едином векторе масса предреволюционных предпосылок, во многом предопределявших как раз—таки неразвитостью капиталистических отношений. Социальным продуктом такой эмбриональности являлись крайне низкий удельный вес среднего класса — главного и единственного востребователя демократии, но зато до предела обширнейший маргинальный пауперлюмпенский массив. А ведь именно последний является питательной почвой, на которой бурно возрастают любые экстремистские движения: от революций до ультранационалистических, радикально-клерикальных, различных фундаменталистских и прочих потрясений. Эта же масса субъектов является неисчерпаемым источником для рекрутирования «солдат террора».

В. Ленин писал: «Мы прошли победным триумфальным шествием большевизма из конца в конец громадной страны» [6; 79]. Между тем шествие это проследовало в основном по городам и лишь в крайне незначительной степени — по аграрной периферии.

Революционные события в Казахстане разворачивались также исключительно в городах или в пределах каких-то промышленных и железнодорожных узлов. И это вовсе не случайно: именно здесь было главное средоточие по-революционному возбужденных солдат, «рабочих от сохи», различных пауперлюмпенских и маргинальных слоев. Именно в городах концентрировалась буржуазия (чиновники, частные предприниматели, «хозяйчики», интеллигенция и т. д.), а потому здесь большевистским агитаторам было удобнее всего внедрять в воспаленное маргинальное сознание образ «классового врага» и главного виновника всех бед, он становился более «видимым».

«Городской» характер революции, пожалуй, ярче всего обозначил, выражаясь словами большевистского деятеля Сафарова, ее «колониальный дух» на национальных окраинах [7; 6]. В самом деле, как «русские анклавы», города региона существовали как бы вне реалий традиционного аграрного пространства. Более того, города и сельская периферия исторически находились в состоянии постоянной ксенофобии и воспринимали друг друга как враждебную социальную среду. На эту устойчивую традицию накладывалось и то, что в сознании коренного населения «имперский» русский город локализовался как источник колониальной власти, откуда не раз исходили страшные беды для аула.

«Революционный город» мало что изменил в этом отношении. На первых порах он продолжал демонстрировать стереотипы великодержавно-шовинистических амбиций, отказывая «инородцам» в «приобщении к революционному процессу». Большевистские лидеры даже в 1920 г. вынужденно признавали, что в Туркестане до сих пор существует теория, что носителями диктатуры пролетариата здесь могут быть только русские.

Но и в городах большевики сталкивались с проблемами, в частности, с привлечением в революцию коренного населения, степень урбанизации которого находилась тогда на уровне статистически даже не улавливаемых величин, т. е. была до предела минимальной. Непосредственный очевидец тех событий М. Чокаев вспоминал: «Из всех советов рабочих и солдатских депутатов на территории бывшего Киргизского Края наиболее близкое географическое отношение к стране, т. е. к России, имел Семипалатинский Областной Совдеп. К нему-то и обратилось Советское правительство с предложением о немедленной советизации казахских степей. На вопрос Сталина, тогда народного комиссара по делам национальностей, как обстоит дело в этом направлении, председатель Семипалатинского Совдепа ответил, что ввиду полного отсутствия среди казаков (казахов. — *Авт.*) городского пролетариата нет никакой возможности провозгласить советскую власть. Сталин со своей стороны предложил ему «собрать хотя бы 15–20 человек казахской бедноты в городе и их именем объявить советскую власть» [8; 44].

Почему же аул и деревня (равно — станица, кишлак и т. д.) края оказались в гораздо меньшей степени, чем город втянуты в революционные процессы? Почему национальное крестьянство оказалось менее «революционным», чем русское? Объяснений на этот счет можно привести довольно много. Причем как конкретно-исторического порядка, так и более общего свойства.

Как известно, основной ячейкой социальной организации сельских структур была община. Собственность на землю — главное средство производства — имела в рамках ее коллективный характер. Другими словами, земля принадлежала общине в целом. Хозяйствующий индивид получал доступ к ней только будучи членом общины, лишь до тех пор, пока являлся ее частью. Отсюда жесткая зависимость от общины, что в свою очередь питало в крестьянском сознании сильнейший конформизм. Индивид всецело подчинялся группе, т. е. общине, ее установкам и интересам, да и просто всему укладу жизни. Единственно возможную для себя гармонию он видел в своей полной слитности с коллективным целым — общиной, в растворении своего личного «Я — сознания» в групповом «Мы — сознании».

Формировавшаяся в русле такого конформизма солидарность служила механизмом сплочения и консолидации общины. Но внутриобщинная солидарность порождала и групповой антагонизм — неприятие каких-либо ценностных принципов и установок, исходящих от запредельного по отношению к данной общине пространства. Любые вторжения извне воспринимались коллективным общинным сознанием как угроза привычным и устоявшимся порядкам, как посягательство на безопасность общины, а следовательно, и ее каждого члена.

Разнообразный комплекс традиционных институтов превращал общину в ту крепость, где крестьянин единственно чувствовал себя безопасно и стабильно. А потому за пределами общины, этой замкнутой «корпоративной» оболочки, крестьянин не видел иного социального пространства. Все, что выходило за периметр данного, говоря словами К. Маркса, «микрокосма», в принципе, мало интересовало крестьянина, ибо это был не его мир (не случайно русская община называлась «миром»), а следовательно, не его жизнь. Отсюда более сильная установка массового сознания на сохранение сложившегося порядка вещей, чем на его изменение, к чему собственно и призывали большевики. (Здесь, кстати, следует иметь в виду, что одной из базовых ценностей массового сознания аграрно-традиционного общества является примат постоянства и неизменности. Понятие «хорошо» в крестьянском сознании — это когда пускай и плохо, но зато надежно и стабильно, это предпочтительнее, чем связанное с риском, а потому проблематичное «лучше»; вспомним крестьянские премудрости типа «от добра добра не ищут»).

Другой момент. В аграрной структуре региона помещичье землевладение не занимало сколько-нибудь заметную нишу. В отличие, например, от Центрального аграрного района России или Украины переселенческая деревня и казачья станица Края не знали дефицита в доступе к земле, которой они вдоволь наделялись в ходе колониальной политики царизма. Поэтому большевистский «Декрет о земле», предполагавший уравнительное перераспределение земли, увлекал своей идеей крестьянские массы внутренней России, но отнюдь не землеобеспеченных русских крестьян — колонистов края. Их он больше отпугивал, в том числе и по той причине, что декретом отменялась всякая национальная дискриминация в земельном вопросе. Но по этой же причине этот декрет был с энтузиазмом воспринят национальным крестьянством — жертвой колониальной земельной политики (аул и деревня находились в этом вопросе в оппозиции друг к другу).

Со школьных лет запомнилась стихотворная строчка: «И крестьяне распахнули свои души свежим ветрам Октября». Ничего не скажешь, весьма метафорично. Но отражало ли это действительность?

Как уже отмечалось, деятельность Советов распространялась главным образом на города, уездные и отчасти волостные центры. Аул и деревня практически не были охвачены их влиянием. Но и там, где они по настоянию большевистских агитаторов создавались, Советы выступали таковыми лишь по форме. По своему же содержанию они в точности повторяли всю прежнюю структуру сельского самоуправления. Признавая этот факт, большевики объясняли его «темнотой и забитостью крестьянства, отсталостью его сознания». Между тем крестьянское сознание оставалось вполне рациональным, по крайней мере, таким же, каким было на протяжении всей истории существования аграрного социума. Оно было плотью от плоти общинной организации крестьянского производства и всей социальной жизни.

Традиционное крестьянское сознание предполагало общину в качестве сакрального идеала, единственно моральной организации жизни и не принимало другие формы саморегуляции и самоуправления. Тем более, если они насаждались извне (извечная общинная ксенофобия — отторжение всего внешнего как чужеродного). Поэтому патриархальная замкнутость и привычная модель самоуправления на селе продолжали сохраняться, несмотря на «революционные ветры перемен».

Сплошь и рядом большевики были вынуждены констатировать «проникновение в местные Советы кулацко-байских элементов». Объяснение этому они находили в «неразвитости процессов классовой дифференциации в среде крестьянства». Но процессы эти протекали более чем интенсивно. Правда, расслоение имело докапиталистический характер (в отсутствие буржуазной частной собственности и дезинтеграции сельских производителей относительно рынка другим оно быть не могло). А потому социальными продуктами его были не сельская буржуазия и пролетариат (как писала советская историография), а традиционная верхушка и пауперизированные низы.

И между ними устанавливались своеобразные «социально партнерские отношения», поскольку, выступая формой трудовой кооперации и взаимопомощи, община обеспечивала выживание каждого своего члена. Для нее был характерен такой традиционный институт, как патернализм (от слова «па-

тер» — «отец», «покровитель»). Суть его заключалась в том, что часть производимого в общине продукта перераспределялась в пользу ее неимущих членов. Общинник, случись с ним что-то непредвиденное, посредством института общинного патернализма обретал социальные гарантии на получение прожиточного минимума. Другими словами, существование «класса» клиентов зависело от традиционных патерналистских отношений, т. е. своеобразного института социальных гарантий (перераспределения части общественного продукта в пользу неимущих индивидов).

Основная же часть материального фонда социальных гарантий, как, впрочем, и весь процесс производства в общине, был узурпирован сельской верхушкой. Рядовые общинники обращались к сельским патронам за различной помощью (одалживали зерно, инвентарь, рабочий скот и т. д.), превращаясь тем самым в их клиентов. Эти крайне необходимые для них услуги оплачивались не только трудом и натурой, но и моральной признательностью.

Патрон выступал в сознании клиента «отцом родным», которому он обязан «до гроба». Такие патронатно-клиентные отношения, особенно характерные для национальной деревни, оборачивались не только экономической, но и личной зависимостью, крепко связывая человека со своим «благодетелем». Поэтому то, что в категориях большевизма трактовалось как эксплуатация, в общинном крестьянском сознании обретало совершенно иное восприятие. Понятия «эксплуататор – эксплуатируемый» размывались иллюзиями коллективной, родственной, кланово-родовой взаимопомощи, сакральными установлениями предков и т. п.

Доступ клиентов к фонду жизненных средств обуславливался их подчиненностью и лояльностью патронам. Понятно поэтому, что в лице сельской клиентелы последние обретали послушных сторонников в любых своих инициативах. Естественно, эти отношения распространялись и на сельские Советы, которые находились под полным влиянием «кулацко-байских элементов». Марксистский тезис «бытие определяет сознание» подтверждал свою правоту, правда, в данном случае в ущерб большевикам.

Сказанное частью объясняет пассивное отношение сельского населения к событиям, происшедшим в революционном городе. В отличие от пролетариата, которому нечего было терять «кроме своих цепей», крестьянину было, что терять. Поэтому он не торопился «делать» революцию в своей деревне. При этом не надо забывать и двойственную природу крестьянина: в своем хозяйстве он одновременно выступал и как работник, и как хозяин.

Не меняя экономического базиса, и прежде всего отношений собственности, нельзя было радикально изменить систему политической власти. А потому все попытки большевиков государственно-политического реформирования села, в том числе и посредством его «советизации» в виде передела байских сенокосов и пахотных угодий, конфискации скота у крупных скотовладельцев, не получали здесь какого-либо серьезного эффекта. Эффект, правда, разрушительный и чудовищно трагический для крестьянства, будет достигнут лишь по мере тотального огосударствления отношений собственности, т. е. после проведения массовой коллективизации сельского хозяйства.

Список литературы

- 1 Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. — М.: Аспект Пресс, 1996. — 416 с.
- 2 Победа Советской власти в Средней Азии и Казахстане. — Ташкент: ФАН, 1967. — 646 с.
- 3 Нуруллин Р. Борьба Компартии Туркестана за осуществление политики «военного коммунизма» / Р. Нуруллин. — Ташкент: ФАН, 1975. — 257 с.
- 4 Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана / Т. Рыскулов. — Ташкент: Узбекское книжное изд-во, 1925. — 124 с.
- 5 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — М.: Политиздат, 1983. — Т. 34.
- 6 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. — 5-е изд. — М.: Политиздат. — Т. 36.
- 7 Сафаров Г. Колониальная революция: опыт Туркестана / Г. Сафаров. — М.: Госиздат, 1921. — 176 с.
- 8 Мустафа Чокай и большевизм. — Алматы: Изд-во КазНУ, 2000. — 108 с.

Ж.Б. Абылхожин, Б. Бурханов, Р. Кубеев

1917 жылғы Қазан революциясы және оның әлеуметтік базасы: кейбір дәстүрлі тарихнамалық мифологемалардың ғылыми дәрменсіздігі

1990 жылдардың басынан бастап посткеңестік кеңістікте жарияланған көптеген мектеп және жоо оқулықтарында, оқу құралдарында, сондай-ақ ғылыми мақалаларда 1917 жылы Қазан оқиғасының сипаттамасында олардың «революция» ұғымы жаппай «төңкеріс» ұғымымен алмастырылды. Бұған қоса бұл жерде «әлемдік еврейлердің қастандықтары» немесе «қалай большевиктер кайзерлік Германияға 30 күміс ақшаға сатылып кеткендері» туралы әртүрлі болжамдар ұсынылған популистікке ұқсас мәтіндер жиі немесе көмескі коннотациялар мен мағыналарда қаралды. Осы мақалада бұл конспиралогиялық мифтердің ғылыми дәрменсіздігін көрсету әрекеті жасалды, сонымен қатар 1917 жылғы Қазан төңкерісі емес революция екені жайлы дәлелдер ұсынылды. Бұл жерде инерциямен қазіргі публицистикаға көшкен кеңестік тарихнаманың тұрақты таптауырыны сынға алынды, нақты айтқанда, Қазан революциясының әлеуметтік базасы, оның жетекші күші шаруалармен бірлескен жұмысшылар табы болғаны туралы миф. Осыған байланысты мақалада революцияның алдындағы Ресей империясының әлеуметтік құрылымы талданды, революция қарсаңындағы әлеуметтің абсолютті үстем страттары ауқымды маргиналдық топтар мен маргиналдық бұқара халық болып табылатыны көрсетілді. Дәл солардың сұрапылымен 1917 жылы Қазан оятылған. Осыдан басқа авторлармен Қазақстанда неге қазан оқиғасы «қалалық революциясы» сипатында өткені, қандай себеппен елдің ауылдары мен деревнялары оны селкос қабылдағаны көрсетілген. Бұл моменттер аграрлық-дәстүрлі бұқаралық сананың сипаттамасын талдау арқылы зерттелді. Мақала соңғы уақытта тарихи публицистикада кеңінен таралған ғылымда миф жасау мен бұрмалануларды жоққа шығаруда белгілі бір үлесін қосады деп үміттендіреді. Мақаланың материалдары жоо оқулықтарына, оқу құралдарына, Қазақстан тарихы мен дүниежүзі тарихы бойынша мектеп сабақтарына және республиканың жоо-да оқытылатын дәрістерге кіріктіріледі деген ойдамыз.

Кілт сөздер: революция, төңкеріс, пауперлер, люмпендер, маргиналдар, маргиналдық сана, «қалалық революция», аграрлық-дәстүрлі сана, шаруалар қауымы, ксенофобия.

Zh.B.Abylkhozhin, B.Burkhanov, R.Kubeyev

The October Revolution of 1917 and Its Social Base: The Scientific Insolvency of Some Traditional Historiographic Mythologems

Since the beginning of the 1990s, in many school and university textbooks, teaching aids, as well as research papers published in the post-Soviet space, in describing the events of October 1917, their definition as a revolution has become abundantly replaced by the notion of «coup». And very often, explicitly or implicitly there were connotations and meanings similar to populist texts, where various speculations about the «conspiracy of world Jewry» or «how the Bolsheviks sold out to Kaiser Germany for thirty silver pieces» are put forward. In this article, an attempt is made to show the scientific inconsistency of these conspiracy myths, as well as to offer arguments why October 1917 was precisely a revolution, and not a coup. Here, a persistent stereotype of Soviet historiography is criticized, which, by inertia, passed into modern journalism, namely the myth that the social base of the October Revolution was the working class in its alliance with the peasantry. In this connection, the article analyzes the social structure of the Russian Empire on the eve of the revolution, shows that the most dominant strata of the pre-revolutionary society were the vast marginal layers and marginal masses of the population. It was their element that propelled the October 1917. In addition, the article shows why the October events in Kazakhstan had the character of a «city revolution», why the aul and the village of the Krai passively took them. These moments are investigated through analysis of the characteristics of agrarian-traditional mass consciousness. We would like to hope that this article will make a definite contribution to the debunking of the myth-making and profanation of science that have recently leaped in historical journalism. It seems that the materials of the article can be integrated into university textbooks, teaching aids, school lessons and lecture courses on the history of Kazakhstan and world history, read in higher educational institutions of the republic.

Keywords: revolution, coup, paupers, lumpen, marginal, marginal consciousness, «urban revolution», agrarian and traditional consciousness, peasant community, xenophobia.

References

- 1 Shtompka, P. (1996). *Sotsiologhiia sotsialnykh izmenenii [Sociology of Social Change]*. Moscow: Aspekt Press [in Russian].
- 2 Pobeda Sovetskoii vlasti v Srednei Azii i Kazakhstane (1967) [The victory of Soviet power in Central Asia and Kazakhstan]. Tashkent: FAN [in Russian].
- 3 Nurullin, R. (1975). *Borba Kompartii Turkestana za osushchestvlenie politiki «voennoho kommunizma» [Struggle of the Communist Party of Turkestan for the implementation of the policy of «military communism»]*. Tashkent: FAN [in Russian].
- 4 Ryskulov, T. (1925). *Revoliutsiia i korennoe naselenie Turkestana [The revolution and the indigenous population of Turkestan]*. Tashkent: Uzbekskskoe gosudarstvennoe knizhnoe izdatelstvo [in Russian].
- 5 Lenin, V.I. (1983a). *Polnoe sobranie sochinenii [Complete collection of the work]*. (5d ed.). Moscow: Politizdat [in Russian].
- 6 Lenin, V.I. (1983b). *Polnoe sobranie sochinenii [Complete collection of the work]*. (5d ed.). Moscow: Politizdat [in Russian].
- 7 Safarov, G. (1921). *Kolonialnaia revoliutsiia: opyt Turkestana [Colonial revolution: the experience of Turkestan]*. Moscow: Hosizdat [in Russian].
- 8 Mustafa Chokai i bolshevism (2000) [Mustafa Chokay and Bolshevism]. Almaty: Izdatelstvo KazNU [in Russian].

Репозиторий КАРГУ